

УДК 82.091.03

О.Б. Лебедева

**ОБРАЗ НЕАПОЛЯ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ А.С. ПУШКИНА.
СТАТЬЯ I. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ ПУШКИНСКОЙ
НЕАПОЛИТАНЫ: «Но *те* в Неаполе шалят...»**

Цикл «Образ Неаполя в творческом сознании А.С. Пушкина» состоит из четырех статей. В нем предпринята попытка реконструировать персональный неаполитанский миф А.С. Пушкина и описать неаполитанский текст его письменного наследия на основании прямых и косвенных упоминаний топонима в пушкинских текстах (лирика Южного периода и конца 1820-х гг., поэма «Бахчисарайский фонтан», десятая глава романа «Евгений Онегин», замысел поэмы о Клеопатре, повесть «Египетские ночи»). К исследованию широко привлекаются материалы русской периодики 1810–1830-х гг. и русско-неаполитанские травелоги (Ф.П. Лубяновский, А.А. Шаховской, В.Б. Броневский, Н.В. Всеволожский, М.П. Погодин, Н.И. Греч и др.), а также эпистолярные свидетельства о Неаполе русских писателей 1820-х гг.

Ключевые слова: пушкиноведение, русско-европейские литературные связи, компаративистика, локальный текст.

Слово «Неаполь», впервые появившись в пушкинских текстах в качестве географического топонима весной 1821 г. (стихотворение «В.Л. Давыдову»), периодически всплывает в них вплоть до 1835 г.: в повести «Египетские ночи» оно в последний раз отзывается своего рода персонификацией топоса, образом неаполитанского импровизатора, личностным воплощением того локального текста с его смысловыми доминантами и образно-лексическими обертонами, который за эти 15 лет складывается в пушкинском письменном наследии как отражение его представлений об итальянском городе.

Примечательной особенностью этого тематического пласта пушкинского творчества является его, в строгом смысле слова, «потаенность»: практически все тексты, формирующие корпус пушкинской неаполитаны, за исключением двух, в которых образ Неаполя присутствует явно («Отрывок из письма к Д.», «Северные цветы на 1826 год». СПб., 1825) или косвенно («Поедем, я готов...». Московский вестник. 1830. № 11) являются черновыми, незавершенными и не опубликованными при жизни поэта. Складывается даже впечатление, что на этом сочетании звуков в их способности обозначать некий определенный (для Пушкина) смысл лежит что-то вроде автоцензурного запрета, до такой степени четко все прямые упоминания сосредоточены в неопубликованных текстах, тогда как в опубликованных поэт предпочитает обходиться перифрастическими обозначениями.

Эти два обстоятельства, а именно, упорное возвращение пушкинской мысли и поэтического воображения к Неаполю, которого поэт, не покидавший российских пределов, никогда не видел воочию, и очевидный эзотерический статус этого образа в его письменном наследии, естественно провоцируют, во-первых, на поиск тех источников информации и представлений о Неаполе, которыми Пушкин мог располагать и которые продуцировали ассо-

циативные ореолы и смысловое наполнение топонима «Неаполь» в его творческом сознании; во-вторых, на попытку выявления образно-смысловых коннотаций этого топонима и, наконец, в-третьих, на опыт реконструкции персонального пушкинского «неаполитанского мифа» как одной из индивидуальных вариаций русской общелитературной неаполитаны. При этом особенная значимость пушкинского «неаполитанского текста» заключается в том, что это – текст о тексте, текст в полной мере литературный, поскольку впечатления о Неаполе поэт получал чисто литературным путем: будучи по своей природе отражением второго порядка, пушкинская неаполитана является в большей мере свидетельством не столько о самом топосе, сколько о его восприятии и концепции в русском эстетическом сознании.

При всем том, что совокупность документальных источников пушкинской информированности принципиально не поддается учету (литературно-художественные источники, например поэмы Байрона или роман Ж. де Сталь «Коринна, или Италия», сознательно оставлены в стороне), поскольку первостепенная роль в этой совокупности принадлежит именно тем, которые почти не оставляют следов в истории (сведения, полученные путем устного общения, не документированный факт знакомства с данным письменным источником), здесь есть все же некоторая область если не безусловности, то достаточно высокой вероятности. Этими документальными источниками, скорее всего, были популярные в пушкинскую эпоху травелоги и материалы русской периодической печати. Трудно себе представить, что Пушкин не читал на шумевших «Писем об Италии» Шарля Дюпати или корреспонденций из Италии более чем популярного в 1810-х гг. драматурга А.А. Шаховского и что он не был знаком досконально с такими журналами, как «Вестник Европы», «Сын Отечества», «Благонамеренный». Тем более что сами пушкинские тексты, содержащие в себе упоминание Неаполя, обнаруживают неукоснительную мотивно-образную соотнесенность и с современной поэту публицистикой, и с переводной и оригинальной литературой путешествий в русской словесной культуре первой трети XIX в. Исходя из этих соображений, попытаемся взглянуть на пушкинские тексты, имеющие прямое или косвенное отношение к образу Неаполя, каким он, возможно, существовал в сознании поэта, в свете концептов массовой неаполитаны пушкинской эпохи, реконструированной по материалам русской периодики и литературы путешествий 1800–1820-х гг.

Май 1820 г. ознаменовался в судьбах Пушкина и Неаполя политическими потрясениями: в первой половине месяца русский поэт отправился в южную ссылку. Датой отъезда Пушкина из Петербурга традиционно считается 6 мая 1820 г. Вслед за ним, в июльском номере журнала «Вестник Европы», появилось известие о революционных событиях в Неаполе, хронологически почти совпавших с отъездом поэта из Петербурга:

В Неаполитанском королевстве произошли важные перемены. Находившийся в Ноле отряд кавалерии, из 130 человек состоявший, без всякого на то предписания, сам собою выступил к горам Авеллинским. Слух о сем марше распространился с быстротою молнии <...>. Сии толпы отправились потом к ущельям, ведущим в Апулию. <...> Известившись о сем, Его Величество Король Фердинанд отправил нескольких Генералов сне-

стись с начальником мятежников и узнать, в чем состоят их намерения. Между тем июня 5 собрался во дворце Государственный Совет для рассуждения о мерах. Скоро потом инсургенты, к которым присоединились целые полки, стоявшие близ самой столицы, прислали к королю адрес с изъявлением желанья иметь *Конституцию, подобную Испанской*. <...> в продолжение переговоров с инсургентами и пока еще не знали намерений короля, смущение жителей столицы превосходило всякое описание. На лицах изображались страх и ожидание ужаснейших происшествий [1. 1820. Ч. 112, № 14, июль. С. 147–148].

<...> В тот же день издана от Наместника прокламация о том, что Испанская Конституция принимается. Генерал Пепе объявлен главнокомандующим национальной армией. В Неаполе и в других городах королевства подняты трехцветные знамена, с красною, черною и синею полосами. Войска и сам Наследный принц надели такую же национальную кокарду [1. 1820. Ч. 112, № 15, август. С. 233].

Невозможно точно сказать, когда именно эти новости достигли ссыльного поэта, но вряд ли это случилось позже, чем осенью 1820 г., которую Пушкин провел в обществе семейства Раевских: до того момента, как топоним «Неаполь» появится в пушкинских текстах, пройдет еще несколько месяцев. Но подспудные смыслы, которые он (топоним) немедленно по своем появлении обнаружит, свидетельствуют о том, что информированность поэта о политической буре в далекой Италии была весьма обширной. Любопытным косвенным свидетельством того, что начавшиеся летом 1820 г. неаполитанские события оживленно обсуждались в круге общения Раевских осенью этого же года, может послужить факт, свидетельствующий о давнем внимании и интересе главы семьи к русско-неаполитанским отношениям: «В Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) в фонде Раевских имеется группа материалов, относящихся к пребыванию в Неаполе отряда под командованием генерала Бороздина» [2. С. 22]. Генерал-майор М.М. Бороздин был участником одного из самых драматичных эпизодов неаполитанской политической истории – революционных событий 1798–1799 гг., в которых приняла активное участие русская эскадра под командованием адмирала Ушакова; после реставрации Фердинанда IV генерал Бороздин стал начальником охраны короля неаполитанского. Небезлюбопытно отметить и то обстоятельство, что декабрист А.В. Поджио, близкий к основателям Южного тайного общества, одессит и итальянец по происхождению, был женат на дочери генерала Бороздина [2. С. 122].

Далее, надо полагать, что одним из основных источников информации Пушкина были журналы, имеющие право на публикацию политической хроники – а таковых было немного, всего два: «Вестник Европы» и «Сын Отечества», и интерес поэта к этим изданиям, безусловно, был усугублен еще и тем, что именно на их страницах развернулась продолжительная полемика о первом крупном произведении Пушкина, поэме «Руслан и Людмила», за материалами которой он, по его собственному свидетельству, следил [3. С. 14–18, 217–218; 4. С. 219].

Предвестием неаполитанского мотива в его прямом словесном выражении стало черновое письмо Пушкина неустановленному адресату (предположительно – В.Л. Давыдову), написанное из Кишинева в первой половине марта 1821 г. и повествующее о начале освободительного движения в Греции (русские журналы сообщили об этих событиях приблизительно месяц спустя, в своих апрельских номерах [1. 1821. Ч. 117, № 7–8, апрель. С. 299–300]). В письме нет слова «Неаполь», но в нем упомянуто именно то историческое событие, которое впервые привлекло внимание Пушкина к итальянскому городу и которым его (города) образ изначально ознаменовался в творческом сознании русского поэта. Греческая Гетерия и восстание карбонариев объединяются для Пушкина в один исторический процесс, сообразно с неразрывной ассоциативной связью представлений о Древней Греции и Древнем Риме как о едином истоке европейской цивилизации:

Два великих народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время *восстают из праха – и, возобновленные*, являются на политическом поприще мира (курсив мой. – О.Л.) [5. Т. 13. С. 24].

Пушкинское словоупотребление в цитированном фрагменте неоспоримо свидетельствует о том, что на втором ассоциативном плане его мысли, прикованной к восстанию карбонариев (слово, напомним, означает «угольщики»: таким образом, огненная коннотация свойственна ему имманентно), присутствует не только образ птицы Феникса, возрождающейся из пепла после огненной смерти (как это явствует из пушкинского письма, одно из знамен греческих инсургентов было украшено изображением возрождающегося Феникса; в прокламациях Александра Ипсиланти также упоминается «Феникс Греции, воскресающий из своего пепла» [5. Т. 13. С. 22–23]), но и образ восставших из пепла везувийского извержения древних городов Помпеи и Геркуланума, описание которых является неукоснительным тематическим мотивом всех записок о путешествии по Италии в их неаполитанских разделах. Таким образом, первый же тон зазвучавшей в пушкинских текстах увертюры неаполитанской мелодии сразу настраивает ее на полисемию понятия «восстание», которое вибрирует в сознании поэта на грани своих терминологически-политической (революция) и фразеологически-сакральной (возрождение, воскресение) коннотаций.

Само же слово «Неаполь» вскоре вслед за этим возникает в черновом послании «В.Л. Давыдову», развивающем мотив воспоминания о недавних разговорах на политические темы, веденных Пушкиным во время его пребывания в поместье В.Л. Давыдова, Каменке. Стихотворение написано около 5 апреля 1821 г. в предпасхальные дни (в 1821 г. Пасха пришлась на 10/22 апреля [6. С. 27]), и его образность определена глоссарием религиозного праздника, среди констант которого особенного внимания заслуживает «воскресение», главная сема Пасхи (некая семантическая вариация на тему «восстания»), примененная к событиям неаполитанской революции как ее очень отдаленная и маловероятная перспектива – в отличие от черногового письма, интерпретирующего возрождение народа как совершившийся факт:

Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлую струей
И за здоровье *тех* и *той*
До дна, до капли выпивали!..
Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет [5. Т. 2. С. 179].

Реальный комментарий идентифицирует выделенные пушкинским курсивом указательные местоимения «те» и «та» как «итальянских карбонариев, возглавивших Неаполитанскую революцию в июле 1820 г.» и «политическую свободу» [7. Т. 2. С. 402]. Но о том, из каких источников Пушкин мог почерпнуть сведения о неаполитанских событиях, столь двойственно интерпретированных им на протяжении какого-нибудь полумесяца, реальный комментарий умалчивает.

В Каменке, имении В.Л. Давыдова, Пушкин провел около трех месяцев: с конца ноября 1820 по конец февраля 1821 г. С одной стороны, это был самый драматичный период Неаполитанской революции – в эти месяцы началось преследование карбонариев и открылся Лайбахский конгресс, предрешивший печальную судьбу неаполитанской конституции своим постановлением ввести австрийские войска в мятежный город. С другой стороны, это был самый насыщенный период предыстории русских тайных обществ: 28–29 ноября 1820 г. в Каменке, в присутствии Пушкина, состоялось знаменитое мистифицированное «заседание» под председательством В.Ф. Раевского с обсуждением вопроса о целесообразности тайного общества в России; в период с 8 по 28 марта 1821 г. произошло организационное оформление Южного тайного общества [4. С. 251–252, 263]. И невозможно даже предположить, что обитатели и гости Каменки – все, кроме Пушкина, принадлежавшие к Южному тайному обществу декабристов, учреждение которого, вскоре осуществленное, было задумано именно в Каменке и именно в эти месяцы [4. С. 263], – что все эти политические вольнодумцы не читали «Вестника Европы» – одного из немногих русских журналов, который имел право на публикацию политической хроники и был фактически единственным источником официальной информации о политических событиях в России и Европе.

«Вести из Италии» и сообщения о «делах неаполитанских» регулярно печатались в рубриках журнала «Современная история и политика Европы» и «Смесь» (подрубрика «Политические и другие происшествия»). И при всей подцензурности и очевидной благонадежности этих публикаций сама их последовательность и сухое официальное содержание, все-таки оставляющие возможность амбивалентной интерпретации их аксиологических смыслов, дают вполне достаточное основание как для реконструкции истинной картины той трагедии, которая развернулась в Неаполе на рубеже 1820–1821 гг., так и для комментария источников пушкинского политического пессимизма,

предвосхищающего реальное подавление освободительного движения карбонариев.

В период пребывания поэта в Каменке в его руках могли побывать чч. 113–114 (№ 17–24 за ноябрь–декабрь 1820 г.) и ч. 116 (№ 1–4 за январь–февраль 1821 г.); по возвращении из Каменки в Кишинев он мог ознакомиться с материалами чч. 117–119 (№ 5–16, март–июль 1821 г.) «Вестника Европы». Вышеназванные рубрики журнала за эти месяцы изобилуют лаконичными, но для русского реципиента, привыкшего читать между строк, в высшей степени выразительными сообщениями из Неаполя, среди которых явно доминируют две темы: это сведения о политических действиях короля Фердинанда IV и информация о тайном обществе карбонариев:

<...> инсургенты <...> прислали к королю адрес с изъявлением желания иметь *Конституцию, подобную Испанской*. Его Величество, видя и в других, еще не присоединившихся к мятежникам, войсках подобные же расположения, признал за благо согласиться на общие желания. Июня 6 поутру разосланы уже были курьеры с известием о новой перемене. В самом городе прибиты печатные объявления о намерении короля через 8 дней предложить фундаментальный закон о введении системы представительного правительства. Сие обещание успокоило умы; порядок не был нарушаем, и не пролито ни одной капли крови [1. 1820. Ч. 112, № 14, июль. С. 147–148].

В Церковной области открыт недавно клуб, состоящий из *Карбонариев*, и деятельнейшие члены его взяты уже под стражу. У них найдены важные бумаги, из которых видно, что общество сие находится в сношениях с людьми весьма известными и что *Карбонарии* ведут постоянную переписку с шайками разбойников, рассеянных по большим дорогам между Римом и Неаполем. Папская полиция занимается дальнейшими исследованиями сих важных открытий [1. 1820. Ч. 113, № 18, сентябрь. С. 154–155].

Чрезвычайно важный в истории русской подцензурной печати композиционный фактор, традиционно являющийся одним из способов выражения такого мнения, которое невозможно высказать безнаказанно, заставляет обратить внимание на чередование тематических планов в последовательности публикаций о неаполитанском восстании, и особенно в том, что касается сведений о политике короля Фердинанда VI, которую ни тогда, ни сейчас, на взгляд современного читателя, нельзя не определить как лицемерную и уклончивую даже по тому скупому изложению фактов, которые нашли отражение в подцензурном журнале монархического государства. Так, сообщение о патриотическом порыве короля неаполитанского, вставшего по обстоятельствам в либеральную позу:

Неаполитанское правительство употребляет сильные меры предосторожности на случай нападения со стороны Австрии. <...> Король, как говорят, намерен сам принять начальство над армиею и из собственной

своей казны выдать миллион червонных на военные издержки (1820. Ч. 113, № 20, октябрь. С. 317) –

тематически поддержано публикацией либеральной речи короля Неаполитанского при открытии совещания вновь созванного парламента: из нее явствует, что король склонен принять испанскую конституцию Кортесов за образец для неаполитанской конституции [1. 1820. Ч. 114, № 21, ноябрь. С. 53–58]. И далее эта линия либеральных *слов* продолжена в номерах «Вестника Европы» за декабрь 1820 – март 1821 г. следующей серией заметок о *действиях* монарха, находящихся с ними в прямом противоречии:

По всему видно, что Австрийские войска вступят в Неаполитанское королевство. Находящаяся в Милане Австрийская армия немедленно выступит в поход <...>. Всего отправлено в Италию 20 000 человек войска. Стоящая на Неаполитанском рейде Английская эскадра, к которой присоединились многие французские суда, имеет поручение наблюдать за безопасностью Короля Фердинанда и его фамилии [1. 1820. Ч. 114, № 23, декабрь. С. 233–234].

По известиям из Неаполя, Король обеих Сицилий приглашен в Лайбах для свидания с союзными монархами. По случаю сего приглашения поступило в Неаполитанский парламент королевское послание <...> принять строжайшие меры к сохранению спокойствия во время отсутствия Короля <...>. Вместе с сим предписал он [принц-наместник] публичные молебствия о здравии и благополучном путешествии государя, в руках коего находится ныне жребий его народа [1. 1821. Ч. 116, № 1, январь. С. 72].

Вести из Италии

«Война или мир?» – вот о чем в Неаполе беспрерывно спрашивают один другого. Все с крайним нетерпением ожидают важных известий; но прежде 20 или 25 января ничего решительного из Лайбаха услышать не могут. Никто не смеет усомниться в намерениях Короля Фердинанда; но никто и не скрывает той мысли, что все усилия монарха <...> останутся без успеха – в таком случае война неизбежна <...>.

В Риме поговаривают и даже твердо верят, что Король Неаполитанский, находящийся ныне в безопасности от наглых революционистов, предложит в Лайбахском Конгрессе такие мнения, каких в Неаполе совсем не ожидают. Догадки сии подтверждаются словами, сказанными Его Величеством во время путешествия по твердой земле Италии. Дело теперь в том, согласятся ли Неаполитанцы на те важные перемены в Конституции, которые им будут предложены – или не согласятся. Австрийские войска, если пойдут они вперед, скоро могут проникнуть до Неаполя <...> [1. 1821. Ч. 116, № 3, февраль. С. 226–227].

Как выясняется из других заметок, главная опасность грозит королю неаполитанскому отнюдь не со стороны Австрии: ее главный источник – карбонарии, их конституционное правительство и предпринимающая оборони-

тельные действия неаполитанская армия: именно этими факторами, в интерпретации «Вестника Европы», вызвана такая экстраординарная мера короля, как введение иностранных войск в восставший город, продиктованная, впрочем, не только его собственными намерениями, но и мнением Священного союза, один из самых громких и веских голосов которого принадлежит Александру I, готовому поддержать подавление неаполитанской революции введением в Неаполь русских войск:

В Неаполе Карбонарии делают ужасные беспорядки. В начале ноября многочисленные толпы их собрались перед дворцом, имея намерение оскорбить королевскую фамилию. Конная гвардия рассеяла сих мятежников. Слышно было, что и в Сицилии беспокойства возобновились. – Неаполитанское войско станет на границах Королевства единственно для безопасности, а не для того, чтобы действовать наступательно [1. 1821. Ч. 114, № 23, декабрь. С. 234].

Со времени отъезда Короля из Неаполя как в столице его, так и во всех провинциях сперва господствовало совершенное спокойствие. <...> Но скоро оказались какие-то беспокойные предчувствия. Солдаты начали поговаривать, что они обязаны повиноваться только одному Королю. <...> В разных местах Королевства заметны признаки контрреволюции [1. 1821. Ч. 116, № 3, февраль. С. 235–236].

<...> Союзные Монархи объявили его Сицилийскому Величеству о твердом своем намерении не терпеть нововведенной конституции в Неаполе, противной безопасности земель соседственных и спокойствию целой Европы, и о том, что они решились в случае нужды употребить силу оружия, если бы мятежные подданные отреклись повиноваться отеческим велениям своего Государя. <...> «Большая часть народа, преданная своему законному Государю, отвергнет мнимую вольность, которая влечет за собою гнусную тиранию» [1. Ч. 116. № 4, февраль. С. 319, 320].

Политическая хроника 5–6-го (мартовских) номеров журнала, вероятно попавших в руки Пушкина приблизительно в то же самое время, когда он сообщал своему неизвестному адресату о начале освободительного движения Гетерии в Молдавии и Валахии и набросал послание <В.Л. Давыдову>, предлагает серии чрезвычайно выразительных и напряженных в своем лаконизме сообщений сначала о неизбежности войны, а затем – о ее основных событиях:

<...> меры, предписанные Лайбахским конгрессом, были оглашены на заседании парламентской комиссии в Неаполе <...>.

<...> парламент объявил, что *не может принять ни одного из предложений Лайбахского конгресса*. И так война! Его Величество Король возвратится в свои владения, как скоро Неаполь будет занят австрийскими войсками.

Австрийская армия поспешно идет к границам Неаполитанским [1. 1821. Ч. 117, № 5, март. С. 74].

Прежде вступления в Неаполитанское королевство и до начинания военных действий главнокомандующий Австрийскими войсками барон

Фримон распространил между жителями изданный в Лайбахе манифест. <...> Король Фердинанд объявляет, что армия, приближающаяся к Королевству, должна быть принята верными подданными не как неприятельская, но как назначенная к защите их, к утверждению необходимого порядка и к сохранению в государстве внутреннего и внешнего мира; в прокламации же Главнокомандующего сказано, что <...> Австрийская армия будет почитать друзьями всех неаполитанцев, верных подданных Короля своего и любящих спокойствие <...>. Но сии миролюбивые меры остались без успеха. <...> [1. 1821. Ч. 117, № 6, март. С. 138–139].

Далее следуют описание сражения австрийской и неаполитанской армий, перечисление сухопутных и морских сил, сведения об истощении казны, о возможном отложении Сицилии и, наконец, информация о намерении Фердинанда вернуться в свое королевство [1. 1821. Ч. 117, № 6, март. С. 140–142]. Политическая хроника следующего, 6-го номера, информирующая русских читателей о поражении войск инсургентов и о занятии Неаполя австрийскими войсками, открывается взрывом верноподданнического энтузиазма по поводу «благополучного» завершения политического кризиса в Неаполе – однако эта более чем понятная и ожидаемая эмфатика нисколько не отменяет сущности изложенных фактов, в целом вполне недвусмысленно сводящихся к идее вооруженной интервенции, задавившей освободительное движение с благословения европейских монархов и лично короля Фердинанда IV, ставшего в ходе этих событий королем Фердинандом I:

Наконец все благомыслящие подданные Фердинанда I имеют право надеяться и спокойных дней, и свободы гражданской <...>. Марта 24 <...> армия пришла к Неаполю. <...> В 9 часов началось вшествие <...> радостное восклицание: да здравствует Король! раздавалось повсюду <...> [1. 1821. Ч. 117, № 7/8, апрель. С. 294–295].

В этой же самой подборке политической хроники, на с. 297, помещена информация о восстании в Пьемонте, а еще через две страницы напечатано сообщение о начале освободительного движения в Молдавии и Валахии:

Князь Александр Ипсиланти <...> объявил, что почитает себя избранным для освобождения Греков от Турецкого ига. <...> Греки решились произвести в действо всеобщий план свергнуть с себя турецкое иго. Сей план, как сказывают, начертан был в тайных братствах <...> кокарда <...> трехцветная: черная, белая и красная [1. 1821. Ч. 117, № 7/8, апрель. С. 299–300].

Это первое на страницах «Вестника Европы» сообщение о событиях в южных регионах России появилось примерно через месяц после того, как Пушкин написал о них в цитированном выше письме, открывающем его неаполитану, и реалии первых шагов движения за освобождение Греции, невольно реминисцентные соответствующим неаполитанским – тайное общество, питающее замысел национального объединения и составившее план

свержения чужеземного ига, и даже цвета кокарды – не могли не оживить в памяти читателей журнала воспоминаний о том, как начиналось уже подавленное к моменту этой публикации восстание карбонариев.

Если же теперь обратиться ко второму тематическому пласту неаполитанских хроник «Вестника Европы», то и в нем тоже очевидна неограниченная возможность двойного истолкования не только самих перечисляемых фактов, но и позиции, с которой факты подбираются и komponуются: публикации, дающие информацию о карбонариях и об их политической позиции и действиях, обнаруживают аналогичное противоречие между верноподданническими интонациями, весьма в них ощутимыми, и собственным смыслом фактов, т.е., действий неаполитанского конституционного правительства, о которых «Вестник Европы» информирует русских читателей:

В Неаполе и в других городах королевства подняты трехцветные знамена, с красною, черною и синею полосами. Войска и сам Наследный принц надели такую же национальную кокарду. Главными виновниками революции почитают так называемых *Карбонариев*, членов тайного общества (*угольщиков*), которые давно уже имеют в виду соединить всю Италию под одну державу [1. 1820. Ч. 112, № 15, август. С. 233].

Неаполитанское войско стоит на границах королевства единственно для безопасности, а отнюдь не для того, чтобы действовать наступательно [1. 1820. Ч. 114, № 23, декабрь. С. 234].

Неаполитанские войска идут к границе. От министра иностранных дел Кампо-Киаро, как сказывают, объявлено <...> что как скоро первый чужестранный солдат покажется в Папском владении, то и Неаполитанская армия немедленно вступит в Папскую область.

Общество *Карбонариев*, или угольщиков, имеет цель политическую и стремится из всех областей Италии составить одну державу. Учредилось оно 1814 года, в правление Мюрата. <...> Мюрат ожидал важной помощи от *Карбонариев*, имевши умысел покорить себе весь полуостров Италии. Ревностнейшие приверженцы его были членами сего общества, к которому принадлежали почти все высшие чиновники его, военные и гражданские. Тайный союз их сделался известным еще прежде победы, одержанной Австрийцами над Мюратом. Он обнаружен одним Французским полковником, который не только объявил Австрийцам о цели и об разных отраслях оного, но еще и представил верной список всем членам. С тех пор началось гонение в Италии на *Карбонариев* и даже на вольных каменщиков [1. 1821. Ч. 114, № 24, декабрь. С. 311–312].

<...> Неаполитанский парламент уже объявил Европе, что происшествиями, воспоследовавшими в сем Королевстве, ничье спокойствие не нарушается (?), что парламент не желает в чужие дела вмешиваться, но он желает также, чтобы и другие не вмешивались в его дела (политика нового рода!); что Неаполитанский народ будет только лишь защищать себя и что он вовсе не намерен вносить войну в чужие земли <...> [1. 1821. Ч. 116, № 3, февраль. С. 228].

Даже в сведениях о том, какое общественное мнение существует в европейских странах относительно неаполитанских событий, публикации «Вестника Европы» обнаруживают аналогичную амбивалентную двуплановость информации, которая поневоле провоцирует на вибрацию возможных этических оценок. Во втором мартовском номере журнала, в рубрике «Современная история и политика Европы», под названием «Голоса некоторых членов Английского парламента о делах Неаполитанских» был опубликован отчет о заседании английского парламента, посвященном обсуждению проекта благодарственного адреса парламентариев Георгу IV в связи с положением в Неаполитанском королевстве и по поводу политического решения короля о невмешательстве Англии во внутренние дела Неаполя: в публикации отреферированы два выступления членов парламента, одно – в поддержку решения короля Георга IV, второе – предлагающее оппозиционное мнение по этому вопросу:

В 3 день марта (н. ст.) в Палате Пэров проходили совещания <...>.

Маркиз Ландсдовн, после продолжительных, весьма странных суждений о делах неаполитанских, изложил следующий проект адреса: «<...> относительно дел Неаполя: изъявить наше удовольствие, что Его Величество отказался участвовать в принимаемых мерах (имеется в виду захват Неаполя австрийскими войсками. – *О.Л.*) <...> которыми нарушиться может общее спокойствие в Европе и которые могут послужить опасным примером для независимости государей и безопасности наций» <...>.

[речь графа Батурета]: «<...> нам нечего сказать против поведения Австрии. <...> *Карбонары* не суть народ Неаполитанский; не на свободу одного лишь Неаполя они посягают: нет, это мятеж целой Италии; не конституции желают они, а именно безначалия. Король Неаполитанский ничем не заслужил таких противу себя поступков; он любим и уважаем своим народом; он с величайшею кротостию управлял государством. Он дал место людям, которые против него служили; а они в знак благодарности вздумали ниспровергнуть его правительство тайными заговорами своими и внезапным извержением губительных своих намерений – извержением, не предваренным никаким неудовольствием, никаким брожением!» <...>

Члены оппозиции предлагали разные возражения <...>. Лорд Аберден, сказав, что Австрия делает свое дело, не одобрял адреса. Лорд Голланд говорил в пользу Карбонаров и оправдывал поступки мятежников. <...> Большинством 47 голосов адрес отвергнут [1. 1821. Ч. 117, № 6, март. С. 124–130].

Одновременно с занятием Неаполя австрийскими войсками в «Вестнике Европы» начинают доминировать верноподданнические интонации: в рубрике «Современная история и политика Европы» сдвоенного апрельского номера журнала появляется анонимная публикация под названием «Голос благомыслящего роялиста», сопровождаемая застенчивой отсылкой к иноязычному источнику («с французского»), однако же без точного его указания. И это слишком похоже на аналогичные мистифицированные подзаголовки излишне

смелых для русской цензуры стихотворений русских поэтов, приписывавших свои рискованные тексты другим литературам и языкам – но только побудительные мотивы сокрытия собственного авторства в данном случае тоже могут быть двойными: голос благомыслящего роялиста, несколько смущенного масштабами своего верноподданнического благомыслия, вполне может принадлежать разочарованному и отчаявшемуся республиканцу – и в обоих случаях не помешает спрятаться за иноязычным источником:

Где эта неаполитанская нация, единодушно преданная конституции Кортесов, принявшая твердое и непреложное намерение с оружием в руках защищать революцию в июле; в случае неудачи бежать в леса и горы, скорее погибнуть, нежели покориться прежнему правительству. Где она? <...>

Парламент Неаполитанский посылает к сим разным войскам 20 пышных прокламаций. <...> Но лишь только раздался голос законного монарха, <...> равно как и благосклонные объявления Августейших его союзников проникнули в станы военные, в города и села, как вдруг вся эта ратная фантазмагория исчезла мгновенно <...>: линейные полки соединились с австрийцами при восклицаниях: *Да здравствует Король!* <...> является истинная *нация* Неаполитанская и принимает, как освободителей своих, тех воинов, которых благодетельный монарх ее призвал, чтобы избавить ее от крамольной партии, столь же слабой, сколь и дерзкой.

И так мы не ошибались, представляя себе Неаполитанцев как бы захваченных в плен и с 8 июля [1820 г.] притесняемых малым числом заговорщиков. <...> сам народ предает правительство Карбонаров власти Союзников!

Наши либералы сделали весьма грубую ошибку, принявши партию Карбонаров <...> за *всю Итальянскую нацию!* <...>

И так удивительно ли, что в Неаполе не нашлось защитников сей уродливой конституции и что верные подданные Фердинанда встречают Австрийцев как своих освободителей? [1. 1821. Ч. 117, № 7/8, апрель. С. 270–276].

При всей видимой благонадежности позиции анонимного автора этих строк обращает на себя внимание незаурядная пронизательность его политического суждения о причинах единодушной реакции европейских монархов на неаполитанскую революцию, косвенно содержащего в себе невысказанную идею ее изначальной обреченности:

Как Европа поручилась за нерушимость трактатов, по которым Австрия владеет Ломбардией и Венецией, то Карбонары, если б несколько более хладнокровия имели, должны бы, кажется, постигнуть, что, объявляя намерение свое отмежевать себе *всю Италию*, они затевают войну европейскую [1. 1821. Ч. 117, № 7/8, апрель. С. 275].

Смысл этого умозаключения при желании позволяет увидеть в тоне всей публикации своего рода имитацию интонаций охранительного сознания, пря-

чувшую под собой совершенно противоположные мнения и чувства, – прием, в высшей степени характерный для подцензурной русской печати, и в таком случае причины умолчания об авторе и отсутствие конкретной ссылки на источник перевода, безусловно, имеют вполне традиционное назначение маскировки излишне смелого суждения.

Заключительные акты неаполитанской трагедии представлены публикациями чч. 118–119, повествующими о торжественном въезде короля Неаполитанского в столицу, состоявшемся 15 мая, при «изъявлении величайшей радости народа» [1. 1821. Ч. 118, № 11, июнь. С. 237] и о том, что «тамошнее временное правительство всячески старается исцелить раны, последними бурями нанесенные отечеству <...>» [1. 1821. Ч. 118, № 9, май. С. 75]. Однако же попытки уверить русских читателей, что «с тех пор, как вступили Австрийцы в Неаполь, жители столицы наслаждаются совершенным спокойствием», выглядят малоубедительными, поскольку тут же сообщается, что в Неаполе начались политические репрессии: «По королевскому повелению, в Неаполе 12 апреля учреждены четыре Юнты, для подробнейшего исследования поведения как публичных чиновников, так и других людей разного звания <...>» [1. 1821. Ч. 118, № 10, май. С. 149], что «Неаполитанская армия, выключая гвардию, будет распущена. <...> Говорят, что Неаполитанское королевство будет занято на 3 года (5 лет)» [1. 1821. Ч. 118, № 9, май. С. 75], что манифест Фердинанда I от 30 мая, объявляющий амнистию всем тем, кто с 8 мая 1820 г. по 24 марта 1821 г. находился в связи с тайными обществами, если только это не виновники заговора, гарантирует всего-навсего освобождение от телесных наказаний, но не обещает сохранения должностей и имущества [1. 1821. Ч. 118, № 12, июнь. С. 323], что «в Неаполе публично сожжены разные книги и рукописи <...>», среди которых сочинения Вольтера, Руссо, д'Аламбера, Джорджо Баффо [1. 1821. Ч. 119, № 13, июнь. С. 71], что «продолжают хватать и предавать суду мятежников, участвовавших в революции <...>» [1. 1821. Ч. 119, № 14, июль. С. 154] и что, наконец, «<...> все училища учреждаются на прежнем основании, под надзором духовенства, новые профессора увольняются, а бывшие доньне в употреблении учебные книги предаются уничтожению. В Неаполе назначены уже дома для принятия иезуитов», в 1767 г. изгнанных из Неаполя Бернардо Тануччи, либеральным министром малолетнего короля Фердинанда [1. 1821. Ч. 119, № 15, август. С. 241].

Заключительным аккордом этого *crescendo* стала эпиграмма, которую в контексте всех материалов «Вестника Европы» можно прочесть как открытый текст – и тогда это дискредитация девятимесячной истории правительства карбонариев, но с тем же успехом она читается и как текст эзотерический, в последних стихах которого можно услышать ноты сострадания к незавидной судьбе тех участников революционных событий, кому довелось их пережить и, следовательно, испытать на себе всю тяжесть австрийской интервенции, дознания по делу о тайном обществе карбонариев и воследовавших за всем этим репрессий:

В Риме от всего сердца шутят над неудачными затеями хвастливых революционистов Неаполитанских. Один из числа первых комических

поэтов Италии сочинил на них следующие забавные стихи, в которых, при всей краткости их, содержится полная история девятимесячных происшествий в Неаполе.

Pulcinella, malcontento
 Diserteur dal Reggimento
 Scrive à mama à Benevento
 Della Patria il triste evento.
 Movimento, Parlamento,
 Giuramento, squisamento,
 Gran fermento, poco argento
 Armamento e nel cimento,
 Fra spavento e tradimento,
 Me ne pento, me ne pento,
 Siam fuggiti come il vento.
 Mamma mia, Mamma bella,
 Prega Dio for Pulcinella!
 [1. 1821. Ч. 119, № 16, август. С. 326].

[Перевод:
 Пульчинелла, недовольный
 Дезертир из войска,
 Пишет матери в Беневенто
 О грустном событии на Родине.
 Возбуждение, Парламент,
 Клятвы и вопли,
 Много волнения, мало денег,
 Вооружение и головой в омут
 Между ужасом и изменой,
 Как мне жаль, как жаль,
 Мы бежали как гонимые ветром,
 Матушка моя, матушка родная,
 Моли Бога за Пульчинеллу!]

Последняя публикация «Вестника Европы» 1821 г., посвященная событиям в Неаполе, – это сообщение о своего рода церковном отпевании подавленной революции, об анафеме Ватикана, произнесенной над ее гробом:

Недавно обнародованная Папская булла против Карбонариев произвела в Неаполе весьма хорошее действие. Многие из обольщенных публично и с искренним раскаянием отреклись от заблуждений секты, которую, по лживым уверениям Карбонариев, сам Папа будто бы одобрил, как согласную с католическим учением [1. 1821. Ч. 121, № 20, октябрь. С. 71–72].

Вряд ли стоит специально говорить о том, как эти материалы воспринимались теми из русских читателей, которые или сами были причастны к декабристскому движению, или были осведомлены о существовании в России тайного политического общества и о его целях (это случай именно Пушкина), тем более что это и не входит в тему нашего исследования. Необходимо, однако, отметить в вышеописанных публикациях те образно-лексические мотивы, которые обличают некий универсально-типологический ассоциативный ход русской общественной мысли, явственно различимый даже в сухих формулировках официальной политической хроники, содержащих именно те отождествления, метафоры и идеи, которые не только на протяжении первой половины 1820-х гг., но и позже будут периодически возникать в текстах Пушкина.

Прежде всего, очевиден мотив «спокойствия» в двух его вариантах – возмущенное спокойствие «верных подданных Короля своего» и желание этих самых «любящих спокойствие благомыслящих подданных» вернуть «спокойные дни» – желание, весьма не чуждое также и монархам, озабоченным

нарушением «общего спокойствия в Европе». Далее, это тенденция противопоставления заговорщиков неаполитанскому народу в целом («Карбонары не суть народ Неаполитанский»); что же касается народа, то он, как верный подданный Фердинанда I, «предает правительство Карбонаров власти союзников» и «встречает австрийцев как своих освободителей». Наконец, особенно выразительны и очень ярки два образных отождествления неаполитанских событий с бурей («раны, последними бурями нанесенные отечеству») и извержением Везувия, ср.: «внезапное извержение губительных своих намерений – извержение, не предваренное никаким неудовольствием»). Словесный мотив бури и метафора извержения, содержащая на втором ассоциативном плане образ вулканической деятельности Везувия, невероятно активной в течение второй половины XVIII–XIX вв., встречается еще в двух номерах «Вестника Европы», политическая хроника которых посвящена официальным документам Лайбахского конгресса, возводящего генезис неаполитанских событий к Великой французской революции: «Усилия злого духа и бурные его стремления, во время революции французской показавшиеся в виде грозного извержения воли народной <...>»; «Сильное брожение умов, во время Французской революции обнаружившееся ужаснейшим извержением народного беснования <...> продолжение одного видим мы в трех революциях истекшего года <...>» (курсив мой. – О.Л.) [1. 1821. Ч. 116, № 3, февраль. С. 251; № 4, февраль. С. 320]. Эти последние образы явно задержались в пушкинском сознании и присутствовали в нем даже через несколько лет после описанных событий, когда под пером поэта рождались стихи: «Свободы буря подымалась» («Зачем ты послан был, и кто тебя послал?» – 1824 [5. Т. 2. С. 314]) и «Волкан Неаполя пылал» (глава десятая романа «Евгений Онегин» – 1830 [5. Т. 6. С. 523]). Как заметил Ю.М. Лотман, сославшись на рисунок Пестеля, аллегорически изображающий «неаполитанское восстание в виде извержения Везувия» [воспроизведен: 8. С. 135], «восприятие образа пылающего Везувия как политического символа было распространено в кругу южных декабристов» [9. С. 295]. Вероятно, не лишним будет еще раз вспомнить, что самоназвание неаполитанских инсургентов – карбонарии (угольщики) своими отчетливыми огненными коннотациями тоже провоцировало подобного рода отождествления.

Пушкинское пасхальное послание В.Л. Давыдову, выражающее сомнение в возможности «воскресения из мертвых» свободы в Неаполе и определяющее действия неаполитанских карбонариев как «шалости», написано в разгар событий, за несколько недель до того, как русские журналы сообщили о принятом в Лайбахе решении ввести австрийские войска в Неаполь и за несколько месяцев до того, как действия инсургентов были официально заклеены как шуточные «затеи революционистов Неаполитанских». И эта способность совсем юного поэта предвидеть итог события в процессе его протекания, вкупе с репутацией политически неблагонадежного ссыльного, которую он успел заслужить в свои очень еще молодые годы, мотивирует один поразительный факт пушкинской биографии, свидетельствующий о том, до какой степени мнения Пушкина были безразличны его современникам – кем бы эти современники ни были.

Во время Лайбахского конгресса, об открытии которого «Вестник Европы» сообщил в первом январском номере за 1821 г. [1. 1821. Ч. 116, № 1, январь. С. 72.], у Александра I, озабоченного судьбами европейских монархий, нашлось время осведомиться о том, что именно ссыльный Пушкин думает о текущих событиях и как себя в связи с ними ведет. 14 апреля 1821 г. находящийся в Лайбахе при государе императоре министр иностранных дел граф И.А. Каподистрия направил бессарабскому наместнику И.Н. Инзову, под присмотром которого Пушкин находился в Кишиневе, следующий официальный запрос, проект которого был накануне утвержден лично Александром I:

<...> желательно, особливо в нынешних обстоятельствах, узнать искреннее суждение ваше <...> о сем юноше. Повинуется ли он теперь внушению от природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения?

Направленный в Лайбах 28 апреля ответ Инзова на этот запрос гласит следующее:

Пушкин, живя в одном со мной доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. <...> в разговорах со мною обнаруживает иногда пиитические мысли. Но я уверен, что лета и время образуют его в сем случае и опытом заставят признать неосновательность умозаключений, посеянных чтением вредных сочинений и принятыми правилами нынешнего столетия [4. С. 269–270].

Однако же автор этого дипломатического шедевра или ошибся, или намеренно покривил душой: до какой степени «лета и время» оказались неспособны «образумить» Пушкина, отвлечь его от «пиитических мыслей», свидетельствуют многочисленные рефлексии прочности впечатлений и стойкости мнения Пушкина о неаполитанских событиях 1820–1821 гг.: их периодический пунктир в пушкинских речах и текстах обличает стабильный характер того ассоциативно-концептуального ореола, который в 1821 г. раз и навсегда окружил топоним «Неаполь» в сознании поэта.

Начиная с этого времени в пушкинском лексиконе поселяется слово «карбонарий», которое помимо своего прямого историко-политического смысла приобретает дополнительную коннотацию, начиная обозначать любой бунт против утеснительных правил вообще. 20 января 1822 г. генерал И.В. Сабанеев, присланный в Кишинев для расследования деятельности членов тайного политического общества В.Ф. Раевского и М.Ф. Орлова, сообщает начальнику штаба генералу П.Д. Киселеву: «Пушкин, щенок, всем известный, во всем городе прославляет меня карбонарием и выставляет виною всех неустройств» [С. 164]. В мае 1823 г., начав работать над первой главой романа в стихах «Евгений Онегин», Пушкин вложит «<...> ученый разговор // И даже мужественный спор <...> // О карбонарах [Вариант: «О Гетерии»], о Парни, // О генерале Жомини» [5. Т. 6. С. 217] в уста своего героя, засвиде-

тельствовав тем самым и степень популярности этих тем, широко обсуждавшихся в русском обществе, и упорное возвращение своих собственных мыслей к недавним политическим событиям, и пристальный характер внимания просвещенной России к неаполитанскому восстанию. В письме Пушкина П.А. Вяземскому от 5 июля 1824 г. производная от слова «карбонарий» форма присутствует в своем метафорическом, индивидуальном пушкинском значении: «<...> первый гений в отечестве Расина и Буало – ударится в такую бешеную свободу, в такой литературный карбонаризм <...>» [5. Т. 13. С. 102].

Кишиневский знакомый Пушкина П.И. Долгоруков, автор дневника, который является «ценнейшим документом для характеристики общественно-политических взглядов поэта» [11. С. 142], процитировав одно из высказываний Пушкина 1822 г., за обеденным столом И.Н. Инзова («пиитическая мысль»!) оставил свидетельство того, насколько безраздельно поэтом владели мысли о неаполитанских событиях:

Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гишпанский тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх [12. С. 88].

Наконец, в 1823–1824 гг. Пушкин познакомится с новороссийским генерал-губернатором, графом А.Ф. Ланжероном, который даст ему прочесть свою трагедию «Mazaniello, ou la Revolution de Naples» [4. С. 360] (экземпляр издания этой трагедии (S. I. et a.) описан Б.Л. Модзалевским в каталоге пушкинских книг под № 1147 [13. С. 284]) – и хотя этот сюжет не относится к восстанию карбонариев, на пушкинское представление о неаполитанском свободолюбии и судьбах неаполитанского освободительного движения он, безусловно, должен был оказать влияние, упрочив в его сознании уже существующую ассоциативную связь «Неаполь» – «восстание».

О том же, какого рода было это представление, свидетельствует дальнейшая судьба тех образно-лексических мотивов пушкинского послания «В.Л. Давыдову», которые, появившись в нем впервые, надолго задерживаются в пушкинском творческом сознании и отражаются в его поэтических текстах. Даже в тех случаях, когда такой текст и не связан прямо с образом Неаполя, он все равно заключает в своих реминисцентных мотивах пушкинский духовный опыт переживания событий неаполитанской революции и становится своего рода ассоциативной проекцией образа Неаполя на уровне коннотаций, которые в воображении поэта окружали топоним своим смысловым ореолом.

Так, в творческом сознании поэта надолго удерживается образно-лексический мотив «ярма», который, появившись впервые в послании «В.Л. Давыдову» («Народы тишины хотят, // И долго их ярем не треснет»), дает периодические отблески в пушкинской поэтической рефлексии о судьбах угнетенных и угнетателей – в самом широком смысле этих понятий. Через год после своей первой вербализации образ ярма как символ политической несвободы возникнет в незавершенном послании <В.Ф. Раевскому> (вторая половина 1822 г.): «Везде ярем, секира иль венец, // Везде злодей иль равнодушный» [5. Т. 2. С. 266]) а еще через год он – теперь уже как символ

духовной несвободы, исключаяющей возможность свободы политической, и метафора крепостного права – всплывет одновременно в большом незавершенном фрагменте «Мое беспечное незнание...» и черновых вариантах главы второй романа «Евгений Онегин»:

Мое беспечное незнание...

Вы правы, мудрые народы,
К чему свободы вольный клич!
Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь,
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич
[5. Т. 2. С. 293].

Евгений Онегин

Свободы сеятель пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил,
И раб судьбу благословил
[5. Т. 6. С. 256].

Первый стих черновой онегинской строфы перейдет без всяких изменений в зачин одного из самых мрачных и пессимистических текстов Пушкина, который, наряду с элегией «Демон», стал подлинной кульминацией его кризисной лирики 1823 г. Стихотворение «Свободы сеятель пустынный...», которому предпослан евангельский эпиграф «Изыде сеятель сеяти семена своя», сам Пушкин полуиронически назвал «<...> подражением басни умеренного демократа И. Христа» [5. Т. 13. С. 79] – это полная аналогия и с тоном обманчивой иронии, прячущей под собой высокий пафос, и с двойной образно-лексической кодировкой пасхального послания «В.Л. Давыдову», где терминология религиозного праздника («эвхаристия», «кровавая чаша», «причастие», «Христос воскрес») облакает своими ассоциативными смыслами общественно-политическое содержание текста.

Заключительный императив стихотворения «Свободы сеятель пустынный...», буквально повторяя цитированные строки стихотворения «Мое беспечное незнание...», выводит в открытый текст один из ассоциативных образов послания «В.Л. Давыдову», а именно, образ народа-стада, имплицитно содержащийся в образно-лексическом мотиве «ярма» последних стихов послания: «Народы тишины хотят, // И долго их ярем не треснет», ср.:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
На что стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич [5. Т. 2. С. 302].

Интонационно-ритмическое, образное и семантическое тождество всех текстов, бывших до сих пор в сфере нашего внимания, подводит к соображению о том, что в начале 1820-х гг. в поэтическом сознании Пушкина сформировался определенный комплекс взаимосвязанных образно-лексических мотивов, ассоциативный не только представлению поэта о Неаполе но и, вероятно, даже звучанию самого этого слова, т.е. комплекс, имеющий очевидную текстовую природу. И окончательный свет на образные коннотации топонима «Неаполь» в поэтическом сознании Пушкина, позволяющий определить, так сказать, основные понятия глоссария этого текста, проливает последний случай словоупотребления топонима в первой половине 1820-х гг., в черновом незавершенном стихотворении «Недвижный страж дремал на царствен-

ном пороге...». В этом стихотворении с предельной полнотой – вплоть до ассоциативно-сакрального обертона в оппозиции эпитетов «ветхая Европа» – «новая надежда», собраны все те лексемы, которые в разное время оформляли отливающееся в поэтических текстах пушкинское представление о Неаполе как о городе, с одной стороны, воскресшего и торжествующего свободолюбия, а с другой – неизбывной неволи, ср:

<...> жребии земли <...>
 В увенчанной главе стесненные лежали <...>
 И миру тихую неволю в дар несли <...>

 Все молча ждет удара,
 Все пало – под ярем склонились все главы. <...>

 <...> Давно ль народы мира
 Паденье славили великого кумира,

 Давно ли ветхая Европа свирепела?
 Надеждой новою Германия кипела,
 Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
 За Пиренеями давно ль судьбой народа
 Уж правила свобода <...>

 Давно ль – и где же вы, зиждители свободы? [5. Т. 2. С. 311].

Последний стих поразительно сходствует с начальными фразами цитированной выше статьи «Вестника Европы» «Голос благомыслящего роялиста»: «Где эта неаполитанская нация, <...> принявшая твердое и непреложное намерение с оружием в руках защищать революцию <...>, скорее погибнуть, нежели покориться прежнему правительству. Где она?».

Таким образом, пушкинский неаполитанский текст первой половины 1820-х гг. обнаруживает неизменность и устойчивость таких своих составляющих, как «свобода», «народ», «ярем», «неволя», «тишина» (спокойствие, покой) – и очевидная амбивалентность смыслов этого текста сопряжена с тем, что его семантический центр составляет именно пара антонимов «свобода» – «неволя», функциональная пока что в своем чисто политическом значении. Но 1824 г. история пушкинской неаполитаны отнюдь не заканчивается. Стихотворение «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» имеет отдаленную, но весьма глубокую перспективу: это, разумеется, десятая глава романа «Евгений Онегин», в которую из него перешли не только образ восставшего Неаполя («Волкан Неаполя пылал» [5. Т. 6. С. 523], но и характеристика Наполеона, вошедшая также и в стихотворение «Герой» («Сей царь, исчезнувший как сон, как тень зари» [5. Т. 2. С. 311; Т. 3. С. 251]. Так десятая глава романа в стихах дополнила общественно-политическую семантику пушкинской неаполитаны последним, заключительным акцентом.

Совершенно независимо от наличия или отсутствия этимологической связи между топонимом «Неаполь» и антропонимом «Наполеон» такой экстраординарно чуткий на созвучие поэтический слух, которым обладал Пушкин, не мог не отреагировать на это фонетическое почти тождество, еще более очевидное в итальянском звучании топонима и имени собственного: «Napoli» – «Napoleone», да еще и поддержанное реальными фактами европейской

истории, а именно началом всеевропейских наполеоновских кампаний 1805–1807 гг., в которых Россия принимала участие на стороне Австрии, с захвата Неаполя наполеоновскими войсками. Эта поэтическая ассоциация тем более вероятна, что и в 1821 г. судьбы Неаполя и Наполеона пересеклись еще раз самым providенциальным образом: Наполеон умер в ссылке на острове Святой Елены в том же самом мае 1821 г., в течение которого австрийские войска довершили разгром республики карбонариев. Первое официальное сообщение о смерти Наполеона, оказавшееся на страницах «Вестника Европы» в тесном соседстве с последними хроникальными заметками о подавлении неаполитанской революции, было опубликовано в рубрике «Новейшие известия» отдела «Смесь»: «В Париже получено из Лондона *официальное известие* о смерти Наполеона. Он умер 5 мая в 6 часов пополудни» [1. 1821. Ч. 119, № 13, июль. С. 77]; в № 15 этой же части помещен, под названием «Выписки о Буонапарте» и с редакторской вступительной заметкой «Буонапарте нет на свете...», перевод фрагмента книги Ж. де Сталь «Десять лет изгнания» [1. 1821. Ч. 119, № 15, август. С. 201–210]. Дата смерти Наполеона приведена по новому стилю: по старому стилю Наполеон умер 23 апреля.

Таким образом, статус неаполитанского текста, каким он оформляется в пушкинской рецепции 1820-х гг., определен его парциальным вхождением в пушкинскую наполеоновскую легенду, с которой он обнаруживает очевидную связь в аналогичной амбивалентной аксиологической вибрации не только знаковой личности исторической эпохи: «Мятежной вольности наследник и убийца» [5. Т. 2. С. 311], но и знакового события, одного из числа тех, которые определили ход европейской истории: «Но *те* в Неаполе шалят, // *А та* едва ли там воскреснет...» [5. Т. 2. С. 179].

И наполеоновской легенде, связь с которой разворачивает неаполитанскую тематическую линию пушкинского творчества в историософском направлении постольку, поскольку личность и образ Наполеона прямо связаны с размышлениями Пушкина о характере и типе личности «героя времени» [14. С. 15], еще предстоит откликнуться в развитии его неаполитаны 1830-х гг. коллизией незавершенной повести «Египетские ночи»: сюжет «Cleopatra e i suoi amanti», предложенный неаполитанскому импровизатору и развитый им, вовлечет в повесть мотив той же самой страсти поиграть жизнью перед лицом Рока, которой посвящено стихотворение «Герой», завершающее пушкинский наполеоновский миф, с той только разницей, что Наполеон, пожимающий руку Чуме-Смерти-Судьбе, играет и рискует своей жизнью и страстью, а Клеопатра – чужими. И первая редакция стихотворения, вошедшего в повесть «Египетские ночи» в качестве импровизации неаполитанца на эту тему, создана в 1824 г., одновременно с последними текстами пушкинской политической неаполитаны первой половины 1820-х гг.

Но прежде чем это произойдет, вулканический образ восставшего города и сотрясенного миропорядка обретет свой эмоционально-тематический противовес в пейзажной лирике Пушкина, развивающей альтернативные мотивы вечного мира, тишины, спокойствия и свободы на лоне вечно прекрасной природы – этому изводу пушкинской неаполитаны посвящена вторая статья нашего цикла.

Литература

1. *Вестник* Европы за 1820–1821 гг. Ссылки на материалы «Вестника Европы» даются в тексте с указанием года, части, номера, месяца и страницы в скобках.
2. *Сибирева Г.А.* Неаполитанское королевство и Россия в последней четверти XVIII века. М., 1981.
3. *Пушкин*. Письма / Под ред. и с прим. Б.Л. Модзалевского. М.; Л., 1826. Т. 1.
4. *Летопись* жизни и творчества А.С. Пушкина. 1799–1826 / Сост. М.А. Цявловский. Л., 1991.
5. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 17 т. М., 1937–1953. Все тексты Пушкина, за исключением особо оговоренных, цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.
6. *Хронологический справочник* (XIX и XX века). Л., 1984.
7. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1963.
8. *Пушкин* и его время: Исследования и материалы. Вып. 1. Л., 1962.
9. *Лотман Ю.М.* Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи // Лотман. Ю.М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки 1960–1990. «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995.
10. *В.Ф. Раевский.* Материалы о жизни и революционной деятельности: В 2 т. Иркутск, 1980. Т. 1.
11. *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л., 1988.
12. *Долгоруков П.И.* 35-й год моей жизни, или Два дни вёдра на 363 ненастья: (Дневник) // Звенья. 1951. Кн. 9.
13. *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С. Пушкина. СПб., 1910.
14. *Муравьева О.С.* Пушкин и Наполеон: (Пушкинский вариант наполеоновской легенды) // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Т. 14.